
Асмодей Денница
Хищные боги

Асмодей Денница

Хищные боги

«Автор»
2026

Денница А.

Хищные боги / А. Денница — «Автор», 2026

Шестьдесят шесть миллионов лет назад на Земле существовала цивилизация. Она не верила в богов. Она сама была богами — и платила за это.Конец мелового периода. Империя Силурис, выращенная из живой кости, стоит на пороге вечности. Её жрецы-Архитекторы выводят из яиц боевых тираннов, которых не могут прокормить ни топь, ни горы. Её Королева-матка Эсстра — улей-сознание, которое держит геном и волю всех каст в одном поводке. Её тень — близнец верховного жреца, убийца, которого никто не видел. Империя не знает голода, не знает смерти, не знает сомнений. Империя не знает, что по небу, неумолимо приближаясь, идёт камень.Убийство наследника трона запускает цепь, которую никто не планировал. Воин Тер-Аккан из клана Терр, страж королевской кладки, оказывается единственным свидетелем. Но он не просто видел убийцу — он носит за пазухой тёплый осколок Нити, живой кристалл, в котором спят сознания владык, что жили до Силуриса...

© Денница А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. Керн из глубины 5
ГЛАВА 1. Птенцы трона 15
ГЛАВА 2. Чешуя над хребтом 24
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Асмодей Денница
Хищные боги

ПРОЛОГ. Керн из глубины

Лёд не врёт. Врёт тот, кто заставляет лёд молчать.

Полярная ночь не бывает тихой. Тишина — это то, что о ней думают те, кто никогда здесь не зимовал; на самом деле она полна звуков, только звуки эти принадлежат не людям, а ветру, льду и той огромной, безымянной работе, которую они ведут друг с другом без свидетелей. Ветер на Кольском шельфе в ноябре не завывает — он скоблит и шлифует, вгрызается в голую тундру и в железо буровой, и в его ровном, неутомимом напоре есть что-то почти хозяйское: вы, мол, здесь на время, а я — навсегда.

Ольга Ветрова стояла у края бурового зева, куда уходила, утухая где-то в невидимой глубине, трёхкилометровая нить стальной колонны, и думала о том, что человек, наверное, так и не научился жить с мыслью о глубине. Глубина — это всегда вопрос, заданный без надежды на ответ; можно обмерить её приборами, можно записать в отчёт, но нельзя привыкнуть к тому, что под тобой, под тонкой коркой льда и камня, лежит время, в котором тебя не было и не могло быть. Шестьдесят шесть миллионов лет — такова была цена этой ямы. Восемьдесят четыре метра льда, потом отложения, потом мел, потом — стоп. Дырка в прошлом, пробуренная людьми, с которыми прошлое не советовалось.

Она приехала сюда в конце сентября, когда полярный день уже догорал, а вместе с ним догорало и что-то внутри неё. Ехала она не за деньгами, хотя платили здесь хорошо, слишком хорошо, как платят за то, о чём потом не рассказывают; ехала она за тишиной. После Москвы, после лаборатории, после того, как её имя второй год подряд не включали в список авторов большой работы по антропогенным маркерам, тишина была единственным лекарством, которое ей ещё помогало.

Специальность у Ветровой была странная, почти неприличная в академической среде. Она изучала техногенные следы — не артефакты и не древние стоянки, а следы: тонкие, почти невидимые отпечатки, которые оставляет цивилизация на породе. Изотопные сдвиги, магнитные аномалии, микрочастицы пластмасс, следы высокотемпературного обжига, концентрации редких металлов, не свойственные природе. Она умела читать камень так, как другие читают документы, и потому, когда на Кольском шельфе, в меловых отложениях, приборы показали то, чего быть не могло, начальство вспомнило именно о ней.

Ей позвонили в середине сентября. Голос в трубке был вежливый, усталый и очень настойчивый; он спросил, не могли бы они обсудить одну консультацию, и по тому, как аккуратно этот голос обходил слова «аномалия» и «мел», Ветрова поняла, что дело серьёзное.

— Ольга Владимировна, нам нужен человек, который умеет отличать природные аномалии от… — последовала пауза, ровно настолько длинная, чтобы она успела вписать в неё всё, что угодно, — от всего остального.

— Какого остального? — спросила она.

— Приезжайте. На месте разберётесь.

Она приехала. И вот теперь стояла у бурового зева, в полярной ночи, и смотрела, как из глубины поднимается то, что не должно было существовать.

* * *

Буровая платформа МГ-4 стояла на льду, в двенадцати километрах от берега, и издалека была похожа на скелет огромной рыбы, выброшенной на снег. Четыре опоры, ферма, вышка, вагончики, трубы, обмотанные нагревательным кабелем, — всё это тонуло в метели и казалось

не построенным, а выращенным, как нарост на теле льда. Вокруг не было ничего: ни сопок, ни скал, ни огней, — только белое до горизонта и чёрное небо, в котором не было ни звёзд, ни луны, ни даже намёка на рассвет.

Ветрова любила это место. Не за красоту — красивым оно не было; за честность. Здесь, на краю мира, никто не притворялся. Ветер не притворялся ласковым, лёд не притворялся твёрдым, люди не притворялись, что им здесь нравится. Всё было тем, чем было, и именно поэтому здесь было легче думать.

Буровая работала круглосуточно, в три смены, по восемь часов, с пересменкой в спешке и перекуром на морозе. Ветрова знала всех по именам — не потому, что была общительной, а потому, что иначе здесь было нельзя; здесь, где до ближайшего жилья было двести километров, люди либо становились друг другу кем-то, либо сходили с ума. Третьего не дано.

Бригадиром был Пётр Ильич — огромный, молчаливый, с обмороженным лицом и руками, которые не дрожали даже на ветру. Он проработал на севере тридцать лет и знал лёд так, как Ветрова знала камень. Он никогда не спрашивал, зачем она здесь; он просто делал свою работу и не мешал ей делать её.

— Ольга Владимировна, — сказал он однажды, когда они стояли у вышки и смотрели, как из скважины поднимается очередная колонна. — Вы ведь не просто так сюда приехали. Не за зарплатой.

— Не за зарплатой, — согласилась она.

— И не за наукой.

— Почему вы так думаете?

— Потому что наука сюда не ездит. — Он усмехнулся в бороду. — Наука сидит в Москве и пишет бумаги. А сюда ездят те, кому нечего терять. Или те, кто что-то потерял.

Ветрова промолчала. Он был прав. Она что-то потеряла — не человека, хотя и человека тоже, — а веру. Веру в то, что если ты делаешь всё правильно, тебя в конце концов заметят; что если копать глубоко и честно, рано или поздно доберёшься до правды; что правда вообще существует.

Здесь, на льду, она впервые за два года почувствовала, что, может быть, ещё не всё потеряно. Потому что лёд не врал. Лёд был честен, и если в нём что-то было — оно там было. Настоящее, не придуманное.

* * *

Вторым человеком, с которым Ветрова сошлась по-настоящему, был Дмитрий Соловьёв — вулканолог, тридцать восемь лет, борода, обветренное лицо и привычка спорить со всеми и обо всём. Он приехал на платформу за месяц до неё, изучать древние магматические события, следы которых сохранились в меловых отложениях шельфа; работа была скучная, рутинная, и Соловьёв откровенно скучал.

Столовая занимала половину вагончика: длинный стол, скамьи, чайник, который никогда не выключался, и окно, за которым не было ничего, кроме белой мути. Здесь по вечерам собирались все, кто не был на смене, — говорили о доме, о ценах, о футболе, — и разговоры эти были тем громче, чем меньше оставалось света за окном.

— Я думал, здесь будет интереснее, — сказал Соловьёв в первый вечер, когда они сидели в столовой и пили чай. — Ну, знаете, как в кино. Вулканы, лава, всё такое.

— Здесь не будет вулканов, — сказала Ветрова. — Здесь мел.

— Вот именно. — Он вздохнул. — Мел. Шестьдесят шесть миллионов лет мела. Знаете, что самое обидное? Я мог бы сейчас быть на Камчатке. Там сейчас извержение. Настоящее, с лавой, с пеплом, с красивыми фотографиями. А я здесь. С мелом.

— Почему же вы не на Камчатке?

Соловьёв помолчал, потом усмехнулся и отхлебнул чай.

— Потому что на Камчатке я уже был. И чуть не остался там навсегда — в прямом смысле. В двенадцатом году, на Толбачике, нас накрыло. Пеплопад, видимость ноль, связь ноль. Мы сутки сидели в палатке, дышали через тряпку и слушали, как снаружи всё грохочет. — Он помолчал ещё секунду. — С тех пор я предпочитаю мел. Мел спокойнее.

Ветрова посмотрела на него. В его серых, усталых глазах было что-то такое, что она узнала сразу: то самое, что видела в зеркале каждое утро. Человек, который однажды посмотрел в лицо чему-то большому и с тех пор не может забыть.

— А вы? — спросил он. — Почему вы здесь?

— Потому что меня не взяли в одну работу, — сказала она. — И я обиделась.

Соловьёв засмеялся — впервые за вечер.

— Честно, — сказал он. — Наконец-то хоть кто-то говорит честно. А то все тут делают вид, что приехали за наукой.

— А вы?

— А я приехал за мелом. — Он поднял чашку. — За спокойным, тихим, скучным мелом. Который никогда ничего не взрывает.

Они посмеялись. Тогда они ещё не знали, что мел взорвёт всё.

* * *

Первый сигнал пришёл за неделю до того, как Ветрова увидела керн. Она сидела в лабораторном контейнере и обрабатывала данные магнитной съёмки — работа механическая, почти медитативная: загрузить профиль, убрать фоновый шум, отметить аномалии, сравнить с эталоном. Она делала это сотни раз, и глаза уже не столько смотрели, сколько проверяли, как проверяет сторож знакомый замок.

И вдруг на экране появился пик.

Небольшой — всего в полтора раза выше фона, — но резкий, узкий, идеально симметричный. Такой, каких в природе не бывает: природные аномалии всегда размытые, несимметричные, с плавными краями, а этот пик был как удар ножом — резко вверх, резко вниз.

Ночь за окном стояла такая же, как всегда: чёрная, ветреная, с белой крупой, которая шла и шла на стекло, — и в контейнере было слышно, как гудит обогреватель и как под его гудение где-то капает вода из оттайки. Ветрова налила себе чаю, забыла про него и обнаружила остывшим, когда за окном уже начало сереть.

Она уставилась на экран, потом перепроверила данные, потом перепроверила ещё раз. Пик остался.

— Дмитрий, — позвала она. — Иди сюда.

Соловьёв пришёл, посмотрел на экран, почесал бороду.

— Магнетит, — сказал он. — Обычное дело. В мелу бывает.

— Не бывает. Не такой формы.

— Ну бывает. — Он пожал плечами. — Может, вкрапление. Может, обломок породы. Мало ли.

— Дмитрий. — Ветрова повернулась к нему. — Посмотри на симметрию. Это не вкрапление. Это… — Она замолчала, подбирая слово. — Это как провод.

Соловьёв посмотрел на неё долгим взглядом, потом снова на экран, потом опять на неё.

— Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Понимаю.

— Провод в мелу. Шестьдесят шесть миллионов лет.

— Я не говорю, что это провод. Я говорю, что это похоже на провод.

— Ольга. — Он вздохнул. — Ты устала. Мы все устали. Пойди поспи.

Она не пошла спать. Она просидела над этим пиком всю ночь, и к утру у неё было три версии — и ни одна из них не объясняла того, что она видела.

* * *

Керн подняли через неделю. Ветрова как раз была на вышке, когда бригада начала подъём; она слышала, как взвыла лебёдка, как загудел трос, как Пётр Ильич выругался в рацию, — и потом из зева показалась колонна, мокрая, блестящая, в наледи, и её повели к лабораторному контейнеру.

— Шестой образец, — сказал мат, помогая укладывать керн в желоб. — С глубины двадцать один метр от дна. Там что-то странное, Ольга Владимировна. Прибор зафиксировал пик. Такой, знаете… — Он замялся. — Резкий.

— Резкий, — повторила она.

— Как будто кто-то провёл черту.

Ветрова посмотрела на него, потом на керн — и почувствовала, как у неё внутри что-то сжимается; не от страха, а от того странного, почти забытого чувства, которое бывает, когда долго ищешь и наконец находишь. Или когда думаешь, что нашла, — а потом понимаешь, что нашла не то, что искала.

Она натянула перчатки и подошла к желобу. Лабораторный контейнер пах горячим металлом, пластиком и — глубже, из-под всего этого — серой; пах так, как пахнет только настоящий глубокий камень: не приправой, а памятью. Керн лежал в желобе, распиленный на метровые секции, тусклый, как окаменевшая глина, и внешне ничем не примечательный. Ветрова провела по нему рукой в перчатке, счищая влажную крошку, и на мгновение ей показалось, что камень тёплый. Это было невозможно: керн только что прошёл через три километра земного льда и холода. Но секунду она держала ладонь, не отнимая.

— Образец отобран по визуальному признаку? — спросила она, не оборачиваясь.

— Не совсем. По магнитному. Прибор зафиксировал пик там, где пика быть не может. На глубине двадцать один метр от дна скважины, прямо в слое меловых отложений.

— Магнитный пик в мелу, — повторила она задумчиво. — Обычный магнетит. Это нормально.

— Нет, Ольга Владимировна. Обычный магнетит не даёт такого спектра. Придётся посмотреть самим.

Она сняла перчатки, потому что голыми пальцами керн чувствовался лучше, и провела вдоль секции. В свете прожекторов порода казалась серой и однородной, но под пальцами, под слоем влажной крошки, она нащупала что-то. Резкую, неприродную границу: не трещину — границу, словно внутри камня прошло ножом, и половина стала другой плотности. Ветрова нахмурилась.

— Поверните ближе к свету.

Мат послушно кантовал секцию; Ольга наклонилась почти вплотную, её собственное дыхание облачком осело на камень и покрылось изморозью. И тогда она увидела. Не наверняка, но достаточно, чтобы сердце пропустило удар: внутри керна, на глубине двадцати одного метра от дна скважины, в меловых отложениях шестидесятишестимиллионной давности, проходила ровная — технологически ровная — линия. Не слой осадка, не окаменелость; линия, проведённая с той геометрической точностью, которой природа не знает, потому что природа не умеет делать прямых линий.

Она отшатнулась.

— Это…

— Да, — сказал мат, и голос его дрогнул. — Я тоже думал, что мне показалось.

— Кто ещё видел?

— Никто. Я сразу к вам пошёл.

— Молчите об этом. Всем. Я сейчас вызову вулканолога.

* * *

Вулканолог Дмитрий Соловьёв пришёл, хлопнув дверью, скинул капюшон, с которого посыпалась снежная крошка, и с ходу невежливо спросил, зачем её в неурочный час выдернули

из-за какого-то мела. Он был из той породы людей, которые не верят ничему, что нельзя потрогать и взорвать; десять лет изучения древних магматических событий убедили его в одном: Земля — это огромная самоподдерживающаяся катастрофа, и за каждым слоем породы стоит либо взрыв, либо извержение, либо удар.

— Вот, — сказала она, пододвигая ему секцию под свет. — Полюбуйся. Линия в мелу. Ровная, прямая, не природная.

Соловьёв посмотрел, почесал бороду, обледеневшую по краям, и покачал головой.

— Это деформация. Уплотнение при литификации. Или разлом, залеченный цементом. Скажи спасибо, что не кроко.

— Нет, Дмитрий. Посмотри на микроструктуру. Я взяла пробу на окуляр. Там структура не осадочная — там словно спечённая керамика, обжиг, термический след. Это не порода. Это технология.

Он взял окуляр сам. Долго молчал, двигая бровями, потом очень медленно отложил прибор и посмотрел на неё уже другими глазами.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сказала?

— Я сказала то, что вижу. Не то, что хочу.

— Где глубина прохода?

— Двадцать один метр от дна скважины. Меловой ярус, верхняя часть маастрихта. Шестьдесят шесть миллионов лет, плюс-минус.

Соловьёв достал термометр из кармана, сунул его обратно, расстегнул парку. Прожекторы резали его лицо тенями, и на этом лице боролись два чувства: профессиональная гордость вулканолога, который никогда не верил в красоту «необъяснимого», и тот холодный, поднимающийся из живота интерес, с которым начинается настоящая наука.

— Термический след, говоришь.

— Термический. Высокотемпературный обжиг, какой даёт только электродуга или плазма. Ни один природный процесс в осадочном мелу не даст температуры, способной спечь карбонатную породу по ровной линии толщиной в волос — и оставить всё вокруг нетронутым.

— А что может?

Ветрова посмотрела на него долгим взглядом. Вообще-то она знала это последние три часа: лежала и перебирала варианты, перебирала и отметала один за другим, пока не остался один, в который ей самой не хотелось верить.

— Сварка, — сказала она тихо. — Электрическая дуговая сварка. Кто-то резал этот камень током, прокалил плазмой по линии и оставил как есть. Шестьдесят шесть миллионов лет назад.

Пауза повисла такая тяжёлая, что её можно было жевать.

— Это бред, — сказал Соловьёв, но сказал уже без той уверенности, с которой заходил в контейнер. — Электрическая сварка в маастрихте. Ты слышишь себя?

— Я знаю, что говорю. У меня три публикации по техногенным следам в кернах нового времени. Я видела сотни таких: магнитные аномалии, термические микроструктуры, углеродные сигнатуры. Я узнала бы это где угодно. Вопрос не в том, что это. Вопрос в том, кто это сделал до того, как на Земле вообще появились инструменты.

— Значит, либо ты ошиблась.

— Не ошиблась.

— Либо у нас проблема посильнее любой, о которой мы думали.

— Дмитрий. Это самое начало. Посмотри на следующий образец: я его не резала, он пришёл из шурфа, где я копнула на пять сантиметров в сторону. Там под линией идёт второе явление. Слои тяжёлых металлов, плотной струёй, синхронно по всему профилю. Не природное залегание. Там словно…

— Словно что?

— Словно проводка. Старая, мёртвая, обесточенная проводка, тянувшаяся по каменному пласту. И на концах — термические узлы, похожие на места подключения.

Соловьёв взял ещё один окуляр. Ветрова молча ждала, чувствуя, как мороз ползёт по спине — не от холода, а от того, что она позволяла себе произносить вслух вещи, которые учёный произносить вслух не должен, если хочет дожить до пенсии.

— Это грязь, — сказал он наконец, но даже ему самому этот голос показался неубедительным. — Я хочу верить, что это грязь. Обогащение металлами в зоне гидротермальных потоков. Малые количества, фаза стабилизации. Такое бывает.

— Не синхронно. Не по прямой. Не с узлами подключения.

Они смотрели друг на друга через три метра лабораторного контейнера, над жёлтым желобом с каменным телом, пролежавшим под землёй шестьдесят шесть миллионов лет. Снаружи завывал ветер, мотавший вышку, как тростинку; где-то очень глубоко внизу, под ними, под тремя километрами льда и камня, в меловом ярусе лежало то, что не должно было лежать: след, оставленный не природой. След, оставленный тем, что умело плавить породу током.

И где-то — Ветрова почувствовала это кожей, хотя не смогла бы объяснить, — в этом следе что-то было. Не мёртвое. Не совсем. Оно спало, оно терпело, и оно ждало, как умеет ждать только настоящая полярная ночь.

— Я звоню в Москву, — сказала она наконец.

— И что ты им скажешь? Что в меловом ярусе нашлась сварка? Тебя поднимут на смех, отберут керн, спишут в архив — и через год тут будет обогатительный комбинат, а след пропадёт.

— А что ты предлагаешь? Молчать?

— Молчать нельзя. Но и орать об этом на всех углах нельзя. Нужно сначала понять самим, что это. Спать не будем, если надо. У меня в вагончике есть хроматограф и масс-спектрометр — старенький, но живой. Разбудим лабораторию своими руками, сожжём образец по-настоящему, посмотрим, что останется. И только потом решим, кому сказать.

Она кивнула. Наверное, это было глупо; наверное, следовало немедленно доложить наверх и переложить ответственность. Но в эту ночь, в этом полярном аду, среди льда и ветра, Ольга Ветрова до конца не верила ни одному начальству на свете. Потому что знала: камень не врёт. Врёт тот, кто заставляет камень молчать.

* * *

Они проработали до утра — вернее, до той смены света, которую здесь в это время года называют утром, когда серый диск солнца, не в силах взойти, касался края горизонта и окрашивал снег в стальной, безжизненный цвет. Ветрова и Соловьёв резали образцы, жгли их в вакуумной камере, гоняли через хроматограф и смотрели на спектры, и результаты выстраивались в картину, которая не хотела собираться сама собой.

Тяжёлые металлы. Не природный разброс, а сконцентрированные, в несколько раз выше фоновых значений, выстроенные в одну полосу, повторяющую линию термического обжига: вольфрам, титан, ванадий, молибден. Металлы, которые в природе не концентрируются в осадочных отложениях — они рассеиваются, окисляются, мигрируют. Здесь же они лежали, как окаменевшие провода, и термические узлы на концах отзывались на масс-спектрометре сигнатурами невероятной чистоты, словно были изготовлены в цеху, где металл плавили с контролем, недоступным никакой природе.

— Ольга, — сказал Соловьёв, не отрываясь от спектра, и голос его сделался совсем чужим. — Ты это видишь?

— Вижу. И не понимаю.

— Это же структура полупроводника. Концентрация донорной примеси, легирование в стехиометрическом соотношении. Кто-то легировал вольфрамит, как легируют чипы. В меловом ярусе. Шестьдесят шесть миллионов лет назад. Кто-то, кого здесь не было.

Она подошла ближе, посмотрела через его плечо на распечатку, на которую он давил пальцем, как на гадюку, и почувствовала, как по затылку бегут мурашки — те самые, что предупреждают: человек стоит на границе того, во что не хочет верить.

— Есть ещё кое-что, — тихо сказала она. — Я не хотела говорить, пока не убедюсь.

— Говори.

— Углерод. В образце, который мы сожгли, — углеродный изотопный состав. Помнишь, как пахло при горении?

— Пахло. Словно что-то…

— Словно живое, — закончила она за него. — Изотопный сдвиг, который встречается только в органике. Только в живых тканях. В карбонатной породе, которой шестьдесят шесть миллионов лет, должны быть только неорганические изотопы. А здесь — сдвиг, совпадающий с органическим. Так пахнет не камень.

— Так пахнет то, что когда-то дышало.

Наступило долгое молчание. В контейнере пахло горелым, металлом, воском — и этим странным, тёплым, почти мясным запахом, от которого не получалось избавиться. Ветрова вспомнила, как ей показалось утром, что керн тёплый; теперь она уже не была уверена, что это ей показалось.

— Нужно резать глубже, — сказал Соловьёв наконец. — Керн цельный, там, под линией, опять же узлы. Мы должны понять, что это. Что это было — и есть ли оно ещё здесь.

— Есть, — сказала Ветрова и сама удивилась. — Чувствуешь? Не знаю, как объяснить. Но оно есть. Оно спит. И оно очень терпеливое.

Соловьёв сглотнул, опустил глаза на распечатки, на керн, на свои обмороженные пальцы — и сказал то, что они оба думали, но ни один не смел произнести:

— Мы последние. Если мы не сойдём с ума и не сообщим всему, что спит в этих шестидесяти шести миллионах лет, — мы последние, кто имеет право это увидеть. Потому что дальше это либо уничтожат, либо это уничтожит. Решай, Ольга. Мы копаем глубже — или закрываем скважину, заливаем бетоном и забываем, что это было.

Ветрова долго молчала, потом взяла в руки секцию керна. Она была холодной, гладкой, тяжёлой; но через толстую перчатку, через все слои льда и времени ей почудилось биение. Пульс. Не сердца — нет, более древний, более медленный, как будто где-то там, в глубине каменного тела, что-то долгое время считало — и наконец досчитало.

— Копаем глубже, — сказала она. — Я хочу знать, кто нас читает.

Ветер снаружи будто вздохнул — глубоко, по-живому, — и буровая вышка качнулась, как маятник. Ветрова не обернулась. Она держала в руках шестьдесят шесть миллионов лет — и ей казалось, что они держат её в ответ.

* * *

Но до этого ещё надо было дожить. На третий день после находки на платформе началось то, что Пётр Ильич называл «северным сюрпризом»: барометр упал за два часа, ветер сменился с северо-западного на северо-восточный и усилился до тридцати метров в секунду, а связь с берегом пропала — сначала неуверенно, с треском и обрывками фраз, потом окончательно, в глухое шипение.

— Шторм, — сказал Пётр Ильич, глядя в окно рубки. — Двое суток, может, трое. Никто не выходит. Никто не поднимает керн. Сидим, греемся, ждём.

— А скважина? — спросила Ветрова.

— Скважина закрыта. Колонна зацементирована, ничего с ней не случится. — Он помолчал и добавил тише: — С ней-то ничего. А вот с нами…

Он не договорил, и Ветрова и так поняла.

Шторм пришёл вечером. Сначала — стена снега, белая, плотная, как вата, которая закрыла всё: небо, лёд, вышку, вагончики. Потом — ветер, который бил в стены так, что каза-

лось, будто кто-то огромный и очень терпеливый пытается оторвать контейнер ото льда. Потом — гул. Не ветра. Чего-то другого: низкий, ровный, вибрирующий, от которого дрожали стаканы на столе и ныли зубы.

— Это лёд, — сказал Соловьёв, но как-то неуверенно. — Лёд двигается. Трещины. Обычное дело.

— Это не лёд, — сказала Ветрова.

Она сидела у приборов и смотрела на экран. Магнитный фон, который она отслеживала, вёл себя странно: не хаотично, как бывает при шторме, а ритмично. Пик, пауза, пик, пауза — с интервалом в двенадцать секунд. Как пульс. Как дыхание.

— Дмитрий, — позвала она. — Смотри.

Он подошёл, посмотрел, и лицо у него медленно вытянулось.

— Это не может быть лёд, — сказал он.

— Я знаю.

— Это… — Он замолчал. — Это идёт из скважины.

Они переглянулись. За стенами выл ветер, в контейнере гудел обогреватель, на столе дрожали стаканы — а на экране, ровно, спокойно, с интервалом в двенадцать секунд, бился пик.

— Надо посмотреть, — сказала Ветрова.

— Ты с ума сошла. Там ветер тридцать метров — он тебя сдует.

— Я не пойду наружу. Посмотрю через камеру. На вышке есть камера, которая смотрит на зев.

Она включила монитор. Камера работала — сквозь снежную крупу, сквозь рябь помех, — и на экране был виден зев скважины: тёмный круг в белом. И в этом круге что-то было.

Не движение и не свет. Словно сам воздух над скважиной дрожал — мелко, часто, — как дрожит воздух над горячим камнем; и в этом дрожании была та же ритмичность: двенадцать секунд, пауза, двенадцать секунд.

— Оно дышит, — прошептал Соловьёв.

— Оно не дышит, — сказала Ветрова. — Оно… работает.

Она не знала, что это значит, но слово было правильным. Именно работает. Как работает насос. Как работает сердце. Как работает то, что очень долго спало и наконец проснулось.

* * *

Шторм длился три дня. Три дня они не выходили из вагончиков, слушали вой ветра и смотрели на экран, где с интервалом в двенадцать секунд бился пик. Три дня Ветрова почти не спала: сидела у приборов, пила чай, который стыл в кружке, и думала.

Она думала о том, что знает. О том, что в меловом ярусе, под тремя километрами льда и камня, лежит нечто, оставленное разумом — не природой, а разумом, — и что это нечто не мёртво. Оно работает. Оно ждёт.

Она думала о том, что будет, если они расскажут. Им не поверят. Или поверят — и тогда сюда приедут другие люди. Не учёные: те, кто умеет заставлять камень молчать. Она видела таких — в девяностые, в двухтысячные, в двадцать первом году. Люди, которые приходят и говорят: это не ваше дело; люди, которые умеют заливать бетоном не только скважины.

Она думала о том, что будет, если они не расскажут. Тогда это останется здесь, под льдом, под камнем, и будет ждать: двенадцать секунд, пауза, двенадцать секунд.

На четвёртый день шторм стих: ветер упал, снег осел, и в разрывах облаков показалось небо — чёрное, чистое, с редкими звёздами. Связь с берегом восстановилась, и первый же звонок был из Москвы.

— Ветрова? — Голос в трубке был сухой, деловой. — Как дела на объекте?

Она стояла в рубке, сжимая трубку, и смотрела в окно, где над скважиной всё ещё дрожал воздух — мелко, часто, ритмично.

— Нормально, — сказала она. — Работаем.

— Керн подняли?

— Подняли.

— Что-нибудь интересное?

Она помолчала. В трубке шуршало. За окном дрожал воздух.

— Нет, — сказала она. — Ничего интересного. Обычный мел.

Она положила трубку и вернулась в лабораторию. Соловьёв ждал её у приборов.

— Ну? — спросил он.

— Ничего не сказала.

Он кивнул, будто ждал этого.

— Значит, копаем глубже, — сказал он.

— Копаем глубже, — согласилась она.

* * *

Этой ночью ей приснился сон. Она стояла на берегу моря — тёплого, мелкого, с водой цвета чая. Над головой было небо, которого она никогда не видела: слишком близкое, слишком большое, с двумя лунами. По берегу ходили существа — высокие, узкие, с гладкой кожей и длинными пальцами, — и что-то строили. Не из камня: из чего-то живого, что росло у них под руками, как растут кораллы.

Одно из существ повернулось к ней. У него было четыре пары глаз, и в этих глазах — она увидела — было то же самое, что она видела в керне. Не злоба. Не голод. Терпение: очень старое, очень глубокое.

Оно посмотрело на неё и сказало — не голосом, а всем телом, каждой чешуйкой:

«Ты пришла. Наконец-то. Мы ждали так долго».

Ветрова проснулась в холодном поту. За окном выл ветер, на столе дрожали стаканы, а на экране, ровно, спокойно, с интервалом в двенадцать секунд, бился пик.

Она села на койке и долго смотрела в темноту, потом встала, надела парку и вышла наружу. Ночь была ясной: звёзды — крупные, холодные — висели над самой вышкой, дыхание вырывалось облаком и таяло. Ветрова подошла к зеву скважины и остановилась в двух шагах. Воздух над ним дрожал — мелко, часто, ритмично: двенадцать секунд, пауза, двенадцать секунд.

Она протянула руку — не касаясь, просто чтобы почувствовать, — и ей показалось, что от зева идёт тепло. Не холод, не мороз, а именно тепло: ровное, спокойное, как от спящего тела.

— Кто ты? — прошептала она.

Ответа не было. Но где-то очень глубоко, под тремя километрами льда и камня, что-то шевельнулось — медленно, тяжело, — и Ветровой показалось, что в этом движении был ответ. Не словами. Теплом. Очень старым теплом, в котором было что-то похожее на: «Я — то, что было до вас. И я — то, что будет после».

Она стояла у скважины до утра. А когда небо посерело и ветер стих, вернулась в лабораторию и села за стол. Перед ней лежал керн — серый, тяжёлый, с ровной линией, прочерченной шестьдесят шесть миллионов лет назад, — и Ветрова вдруг поняла, что больше не боится. Не потому, что была храброй. А потому, что бояться было уже поздно.

Она взяла блокнот и написала первую строку будущего отчёта:

«В меловых отложениях Кольского шельфа обнаружены следы технологической деятельности, не имеющей природного аналога. Возраст — около 66 млн лет. Рекомендуется углублённое бурение».

Потом посмотрела на эту строку и добавила вторую:

«Возможно, мы не первые».

И третью — уже не для отчёта, а для себя:

«И, возможно, не последние».

* * *

Высоко над головой, за слоями облаков, за краем атмосферы, в чёрном вакууме поднималось над горизонтом нечто, о чём они ещё не знали и знать не могли: каменное тело, десятикилометровый камень, что вёл свою собственную, нечеловеческую орбиту вокруг Земли — орбиту, которая через шестьдесят шесть миллионов лет, в определённой точке своей траектории, должна была вновь пересечься с этой планетой.

ГЛАВА 1. Птенцы трона

Из несчётных яиц судьба выбирает одно. Остальные — корм.

Скорлупа помнила всё. Она росла из земли так, как растут только кости: медленно, слоями, наращивая себя изнутри наружу, пока не становилась городом. В ней не было ни одного угла, который кто-то нарочно выпилил бы, ни одной стены, сложенной по кирпичу; всё было выращено — переплетения известковых рёбер, поднимавшихся на сорок локтей над болотистой низиной, своды на прожилках, наполненных горячей кровью, переходы, что в непогоду вздувались и опадали, как лёгкие. И запах — повсюду один и тот же, от которого у пришлых кружилась голова: тёплый, солоноватый, чуть сладковатый запах живой кости, пропитанной солями и временем.

Гнездо стояло на болотах уже тысячу лет. Или две тысячи — никто точно не знал. Жрецы говорили, что считают время от первого яйца, но первого яйца никто не видел, и первой Матки тоже, и потому счёт этот был таким же, как всё в Гнезде: гладким снаружи и пустым внутри. Важно было не то, сколько Гнездо стоит, а то, что оно стоит. Что оно растёт. Что оно живёт.

А оно жило. Тер-Аккан чувствовал это каждым нервом, каждой чешуйкой, каждым ударом сердца. Гнездо дышало, текло, переваривало; в нижних кольцах, где ютились Сырые, было тепло и тесно, как в чреве, в средних, где жили воины, — сухо и гулко, как в груди, в верхних, где обитали жрецы, — прохладно и чисто, как в черепе. И всё это было одним существом, одним телом, одним городом-зверем, который спал, ел, рос и не собирался умирать.

Тер-Аккан стоял в утреннем тумане у южных ворот Гнезда и смотрел, как из тумана выходит стража — его вторая смена у королевской кладки. Ему не было ещё и двадцати сезонов, чешуя на плечах не затвердела до конца, и в Гнезде над такими, как он, добродушно посмеивались: молоко на клыках. Он не обижался; он вообще мало на что обижался — качество, которое в его клане считали почти пороком. Терр, старое гнездо у западных топей, выводил воинов терпеливых, а не вспыльчивых. Вспыльчивые умирали молодыми. Терпеливые — тоже, но позже и с большей пользой.

Стража выходила из тумана медленно, будто не шла, а выплывала: восемь воинов в костяных доспехах, с копьями и одинаковыми, ничего не выражающими лицами. Впереди шёл распорядитель — старый, с выцветшей, почти белой чешуёй и гребнем, изрубленным в двух местах старыми шрамами. Он остановился перед Тер-Акканом и оглядел его с ног до головы.

— Тер-Аккан из Терра. Назначен в четвёртое кольцо, внутренние покои. Смена до полудня.

— Слушаюсь.

— Яиц касаться нельзя. Даже взглядом долго не касайся. Если увидишь движение скорлупы — зовёшь старшего, не бежишь сам. И не дыши на кладку: она это чувствует.

Тер-Аккан кивнул. Распорядитель оглядел его ещё раз, будто взвешивал, и, ничего не сказав, ткнул когтем в сторону внутреннего прохода.

— Иди. И помни: в четвёртом кольце не любят тех, кто задаёт вопросы. Там любят тех, кто стоит и молчит. Ты умеешь молчать?

— Умею.

— Тогда иди.

* * *

Гнездо изнутри было непохоже на Гнездо снаружи. Снаружи — костяной холм, серый, обтекаемый, чуждый всему, что ползало и бегало по земле вокруг; внутри — собор. Своды терялись в темноте, и в этой темноте теплились огни: не факелы, а живые пузыри, налитые желтоватым светом, что подвешивались под рёбрами свода и медленно пульсировали, дыша

вместе с городом. По стенам текли жёлоба с горячей водой — город обогревал сам себя, гнал по своим венам кровь, от которой шёл пар. И везде, куда ни глянь, — яйца.

Тер-Аккан шёл и смотрел. В нижних кольцах яйца были мелкими, с кулак, и лежали в общих нишах, как гнёзда мелкой живности; в средних — крупнее, в человеческий рост, и каждая ниша была отдельной, с меткой клана. А здесь, в четвёртом кольце, куда он поднимался по спирали, яйца были огромными, в рост взрослого воина, и стояли по одному, в отдельных нишах, обитых мягкой тканью. Здесь, в сердце Гнезда, выводили не простых воинов — здесь выводили тех, кто будет стоять у трона. Кровь трона, старшая линия, последняя надежда Силуриса — так говорили жрецы.

Яйца стояли в нишах, втопленных в стены, как в сотах: крупные, гладкие, цвета слоновой кости с прозеленью, они были тёплыми даже издали, и от них шёл тонкий сладковатый пар. Пол под ногами был тёплым и податливым, как живой; стены дышали; где-то в глубине, за перегородкой из перепонок, глухо стучало сердце — не одно, много, сбитые в один ритм. Город жил. Это было первое, чему здесь учили: Гнездо — не здание. Гнездо — существо.

Он остановился у третьей ниши. В ней лежало яйцо, ничем не отличавшееся от прочих, разве что чуть крупнее, и по скорлупе змеилась трещина — тонкая, волосяная, едва заметная. Тер-Аккан подошёл ближе, забыв наставление, и вдруг понял, что трещина идёт не сверху вниз, как бывает, когда птенец пробивает скорлупу изнутри. Она шла поперёк. Словно кто-то провёл по яйцу чем-то острым снаружи.

Он уже хотел позвать старшего, как велели, но не успел.

Скорлупа в нише дёрнулась — раз, другой; трещина поползла, расширяясь, и из неё вместе с мутной жидкостью показалась голова. Маленькая, слепая, вся в плёнке. Птенец замер, тяжело дыша, и Тер-Аккан, сам не зная зачем, протянул руку и снял с его морды плёнку — осторожно, самым когтем, как учили снимать плёнку с яйца домашней ящерицы, только в тысячу раз аккуратнее.

Птенец открыл глаза. Жёлтые, огромные, они смотрели прямо на него — и в них было не младенческое, а древнее, изучающее выражение, от которого у Тер-Аккана по загривку пополз холод. Птенец смотрел секунду, две, потом медленно, очень медленно склонил голову набок — так, как склоняют голову, когда что-то запоминают.

— Ты, — прошелестел он. Голос был тонкий, но не детский: сухой, шершавый, будто говорил не птенец, а кто-то очень старый, говорящий через птенца. — Ты будешь помнить.

Тер-Аккан отшатнулся. Сердце колотилось где-то в горле. Птенец же, будто истратив на эти слова всё, что у него было, обмяк и затих, и скорлупа вокруг него сомкнулась, затянулась плёнкой, и трещина исчезла — так не бывает, так не должно быть, яйца не зарастают.

— Эй! — крикнул Тер-Аккан. — Старший!

Никто не отозвался. Коридор был пуст: только пульсировали под сводом живые огни, только дышали стены, только где-то в глубине ровно, сыто стучало многоголосое сердце.

Он стоял над нишей и смотрел на гладкую, цельную, нетронутую скорлупу — и понимал, что видел то, чего видеть не должен был. И что птенец, который ещё не должен был вылупиться, уже умел говорить. И уже умел запоминать.

* * *

Голос за спиной раздался так внезапно, что Тер-Аккан едва не прыгнул.

— Что ты видел?

Он обернулся. В проёме стоял жрец — высокий, сухой, в мантии из выделанных перепонок, с посохом, увитым живыми побегами, которые шевелились сами по себе. Лицо у жреца было узкое, длинное, с двумя парами глаз: верхняя пара смотрела прямо, нижняя — чуть в сторону, и от этого казалось, что он видит сразу и тебя, и то, что за твоей спиной. Тер-Аккан узнал его сразу, хотя видел лишь издали, на церемониях. Чан-Дур. Сам Архитектор, верховный жрец-генетик, второй после Матки.

— Ничего, — сказал Тер-Аккан, и голос его не дрогнул. — Яйцо треснуло. Я позвал старшего.

— Ты позвал. — Чан-Дур подошёл ближе, и нижняя пара его глаз скользнула по нише, по скорлупе, по лицу Тер-Аккана. — А старший не пришёл. Странно, правда? В Гнезде на зов всегда приходят. Если зовут правильно.

Он остановился в двух шагах. От него пахло не костью, как от всех здесь, а чем-то другим — холодным, минеральным, как пахнет камень, в котором спрятано железо. Тер-Аккан стоял неподвижно, как учили: не беги, не оправдывайся, не смотри в сторону.

— Я слышал голос, — сказал Чан-Дур тихо. — Мне показалось, в этой нише кто-то говорил. Тебе не показалось?

— Мне показалось, — сказал Тер-Аккан. — Птенец пищал. Они всегда пищат.

— Пищал. — Жрец улыбнулся, и улыбка у него была как трещина в камне: тонкая, ровная, ничего не выражающая. — Что ж. Пусть пищит. — Он поднял посох и коснулся им скорлупы; побеги на посохе потянулись к ней, обвили, и на миг Тер-Аккану показалось, что скорлупа под ними вздрогнула — как вздрагивает спящий, когда его касаются. — А ты, воин из Терра, запомни на будущее. В этом Гнезде яйца не трескаются сами. И птенцы не говорят раньше срока. Если тебе покажется иначе — значит, тебе показалось. Понял?

— Понял.

— Хорошо. — Чан-Дур отнял посох и пошёл прочь, не оглядываясь. У самого выхода он остановился и, не поворачивая головы, добавил: — И ещё. В четвёртом кольце служат до первого любопытства. Ты уже потратил своё. Постарайся, чтобы второго не было.

Он ушёл. Тер-Аккан стоял один в пустом коридоре, и сердце его стучало так громко, что, казалось, его слышит весь город. Он посмотрел на нишу: скорлупа была гладкой и целой, будто ничего и не было, будто ему и вправду показалось. Но на скорлупе, там, где её касался посох, остался тонкий, чуть заметный след — как ожог, как клеймо. И Тер-Аккан вдруг понял, что этот след он уже видел. Сегодня утром. На той самой линии, что шла поперёк камня, словно кто-то провёл по нему чем-то острым снаружи.

* * *

Полдень в Гнезде наступал не по солнцу — солнца здесь, под сводами, не видели никогда, — а по зову: с первым ударом большого сердца город просыпался окончательно, со вторым начинались дела, с третьим заканчивались смены. Тер-Аккан к третьему удару уже стоял у выхода из четвёртого кольца, и к нему, тяжело переваливаясь, подошёл старый воин — тот самый распорядитель, что утром отправлял его на смену.

— Живой, — сказал старик удовлетворённо. — Хорошо. В четвёртом кольце не все доживают до полудня.

— Доживают? — переспросил Тер-Аккан.

— Всегда кто-нибудь да не доживает. — Старик пожал плечами, будто говорил о погоде. — Яйца капризные. Птенцы голодные. Воины — тоже. — Он оглядел Тер-Аккана внимательнее. — А ты, я смотрю, чем-то напуган. Что, увидел что-нибудь?

Тер-Аккан помолчал. Вспомнил узкое лицо Чан-Дура, его улыбку-трещину, его слова: «значит, тебе показалось». И сказал:

— Показалось.

Старик хмыкнул.

— Ну и славно. Показалось — значит, живёшь правильно. — Он повернулся уходить, но на полпути остановился. — Слушай, воин из Терра. Ты, я вижу, из западных топей, клан Терр?

— Да.

— Слыхал я, у вас там в топях, за хребтом, последние сезоны странное творится. Звери уходят — не туда, куда обычно, а к самым горам, к северу, где холод и камень. И тиранны, те, что дикие, — целыми стаями. Будто их кто-то зовёт.

Тер-Аккан нахмурился.

— Не слыхал.

— Не слыхал — и хорошо. Меньше знаешь — дольше живёшь. — Старик махнул когтем и ушёл, бормоча что-то себе под нос.

* * *

Он тряхнул головой, отгоняя морок, и пошёл к себе в караулку — маленькую нишу в стене, где пахло сушёной рыбой и мокрой костью. Там, на соломенном тюфяке, лежал его немудрящий скарб: нож из обсидиана, точильный камень, ремень, фляга. И странная вещь, которую он подобрал ещё птенцом, в топях, у самой воды: гладкий, тёплый, чуть светящийся в темноте камешек, формой похожий на маленькое яйцо. Он не знал, что это. Никто не знал. Но камешек был тёплым даже в самый лютый холод, и иногда, если долго на него смотреть, в нём будто что-то двигалось — медленно, глубоко, как рыба подо льдом.

Тер-Аккан достал камешек, сжал в кулаке. Он был тёплым, как всегда, и сегодня — впервые за много сезонов — ему показалось, что тепло это не просто тепло, а что-то вроде приветствия. Или предупреждения.

— Кто ты? — прошептал он.

Камешек не ответил. Но где-то очень глубоко, в самом низу, под всеми кольцами Гнезда, под костяными сводами и живыми стенами, под тёплой землёй, под холодным камнем что-то шевельнулось — медленно, тяжело, как шевелится во сне то, что спит уже очень, очень давно.

И Тер-Аккан, воин из Терра, двадцати сезонов от роду, стоял в своей караулке, сжимая в кулаке тёплый камешек, и впервые в жизни чувствовал, что за ним кто-то смотрит. Не Чан-Дур. Не Матка. Кто-то гораздо более древний. И гораздо более голодный.

* * *

Жизнь в Гнезде шла по ударам большого сердца — иначе его жители не умели и не хотели. Первый удар — рассвет: всё, что жило ниже четвёртого кольца, поднималось и расходилось по своим работам — Сырые мыть жёлоба и чистить кладовые, воины — на смену, охотники — в топи за добычей. Еда была общая, по казармам: густая похлёбка из болотной рыбы и кореньев, приправленная солью, что добывали из выпаренной воды. Тер-Аккан поначалу дивился: в Гнезде никто не охотился для себя. Зерно, рыба, дичь стекались в общие кладовые, и оттуда распорядители делили их по расписанию — старательно, без перекосов, как делят корм на племенной ферме. У каждого было ровно столько, сколько нужно. И ни на крупинку больше.

Второй удар — полдень: работы сворачивались, воины выходили на плац — широкий, выбитый в кости двор в третьем кольце — и учились. Копьё, сеть, клык. Потом, после третьего, вечернего удара, нижние кольца затихали, живые огни гасли, и Гнездо переходило на ночной режим: тишина, тепло, медленное дыхание стен.

Тер-Аккана удивляло другое — как мало здесь говорили. В топях отцы учили детей словами; в Гнезде учили жестами, знаками, стуком. Воины объяснялись короткими фразами или вовсе движениями пальцев, как глухонемые. Сначала он думал, что это секретность, потом Кер-Тан объяснил:

— Слова много весят, — сказал он. — Каждое слово — это запах, звук, след. Сказал лишнее в одних стенах — услышал в других. Здесь уши как вода: всё слышат, всё запоминают. Поэтому говорим мало, а делаем много.

Жрецы и вовсе почти не разговаривали между собой. У них был свой язык — знаковый и тепловой: они носили на поясе маленькие костяные пластины с узорами и, общаясь, касались их в определённом порядке, передавая смыслы, которые словами не выражались: приказ, порицание, клятву. Тер-Аккан долго не мог понять, как они это делают, а потом увидел: пластины отзывались на касание теплом — разным, по узору, — и жрецы читали это тепло пальцами, как слепые читают буквы.

— Гениально, — сказал он как-то Кер-Тану.

— Гениально? — Кер-Тан хмыкнул. — Это просто удобно. Когда не хочешь, чтобы тебя услышали все, — говори руками. Когда не хочешь, чтобы тебя услышал кто-то, — говори теплом. А когда не хочешь, чтобы тебя услышал вообще кто-нибудь, — молчи.

— И что делают те, кто не умеет молчать?

— Они уходят в кузню, — сказал Кер-Тан. — Там всем один ответ.

Тер-Аккан не стал переспрашивать, что это значит. Он уже понял, что в Гнезде у слов есть вес, а у молчания — целая система. И что самый тихий здесь — тот, кто знает больше всех.

* * *

Медицина в Гнезде была странной. Раненых лечили не лекари, а особые жрецы-«согреватели»: они прикладывали к ране тёплые руки и держали, пока боль не утихала. Тер-Аккан сначала не верил, пока не увидел: у воина из первого кольца загноилась нога, распухла до колена, и «согреватель» двое суток грел её ладонями — и гной сошёл, и опухоль села, и воин встал на ноги. Не по-нашему, но работает, думал он и всё равно держался подальше: согреватели лечили не только раны.

Болезни в Гнезде были редки — Сырые жили на службе, воины на дисциплине, а большая жара и здоровый жёлтый свет убивали заразу, как тёплое солнце убивает плесень. Но когда болел кто-то важный, стоял шум. Тогда жрецы сходились у постели больного, как одна стая, и — Тер-Аккан понял это позже — не лечили его. Они списывали его. Болезнь считалась браком в просчёте крови, и больного «пересчитывали»: либо чинили, либо переводили в разряд тех, кто не нужен. Он ни разу не видел, чтобы «пересчитанный» вернулся.

— Не смотри, — говорил ему Кер-Тан, когда мимо проносили очередного. — Не твоё дело, кого и за что.

— А когда станет моим? — спросил он однажды.

Кер-Тан не ответил сразу. Он долго смотрел ему в лицо, будто прикидывал, сколько тот ещё выдержит.

— Когда научишься лечить, — сказал он. — Не раньше.

Тер-Аккан тогда не понял. А теперь, глядя на тёплый камешек в ладони, начинал понимать: в Гнезде у каждой жизни был свой счёт. И он, Тер-Аккан из Терра, оказался в этом счёте совсем не тем числом, каким должен был быть.

* * *

На следующее утро, за два часа до смены, Тер-Аккана разбудили раньше обычного.

— Вставай, — сказал посыльный, тряся его за плечо. — Сегодня Распознавание. Все воины четвёртого кольца обязаны присутствовать.

Тер-Аккан сел на тюфяке, протирая глаза. Распознавание. Он слышал об этом ритуале, но никогда не видел его вблизи — только издали, с нижних галерей, куда пускали молодых. Раз в несколько сезонов, когда королевская кладка наливалась силой, жрецы устраивали Распознавание: обряд, во время которого Матка — или её воля — выбирала из яиц те, что достойны трона. Остальные… об остальных не говорили. Остальные просто исчезали из кладки, и никто не спрашивал, куда.

Он оделся в лучшее, что у него было, — чистый ремень, начищенную пряжку, — и вышел. Коридоры уже были полны: воины, жрецы, распорядители — все шли в одну сторону, вверх, к внутреннему кольцу. Никто не разговаривал; только шаги, только дыхание, только далёкий, ровный стук большого сердца.

По пути, как всегда в такие дни, старый распорядитель рассказывал молодым историю Силуриса. Тер-Аккан слышал её уже четыре сезона — почти слово в слово, — но в этот раз слушал особенно.

— Гнездо не всегда было Гнездом, — говорил старик, шагая впереди. — Давно, когда мира ещё не было, а был только гул, жили звери. Сильные, зубастые, слепые к тому, что не

движется. Они сожрали бы всё живое, и на этом бы всё кончилось. — Он сделал паузу, глядя на молодых воинов. — Но среди стад нашёлся один зверь — не самый большой, не самый зубастый. Который догадался: если смотреть, а не только чуять, можно увидеть, куда идёт добыча, прежде чем она побежит. Он начал загонять стаю — не зубами, а умом. И стая пошла за ним.

— Это легенда, — тихо сказал кто-то.

— Всё — легенда, — ответил старик. — А Гнездо — нет. Гнездо стоит. Значит, тот зверь был прав. Из его стаи, из той первой охоты и выросло наше племя. Мы — потомки тех, кто решил: смотреть лучше, чем бежать; думать — лучше, чем кусать. А потом кто-то из нас научился не только думать, но и строить. Первое Гнездо было не костяное — гнездо из глины и веток, на самом краю топей. В нём жили сто воинов и три сотни самок и детёнышей. — Старик помолчал. — Теперь нас сотни тысяч. А первое гнездо давно съело болото.

— И жрецы? — спросил молодой воин. — Они тоже из той стаи?

— Жрецы — это те, кто понял, что охотник, который видит, и охотник, который думает, — не одно и то же, — сказал старик. — Когда охота стала слишком большой, стая разделилась: охотники — те, кто гонит, и мыслители — те, кто видит путь. Мыслители ушли во внутренние кольца и стали жрецами. А охотники — воинами. И с тех пор мы держимся вместе только потому, что Матка держит нас: она и охота, и мысль, и всё сразу.

— Значит, без Матки мы распадёмся?

— Без Матки мы распадёмся, — подтвердил старик. — Поэтому её берегут. Поэтому её боятся. И поэтому её не трогают.

Тер-Аккан шёл и думал о том, что в этой истории — как в каждой легенде — есть не только то, что говорят, но и то, о чём молчат. Старик не сказал, кто построил первое настоящее Гнездо из кости. Не сказал, откуда взялись машины. Не сказал, что стоит в самом низу, под всеми кольцами.

Но Тер-Аккан уже знал. Он видел камешек. Он слышал тепло. И он чувствовал: где-то глубоко внизу спит то, что старше любой охоты и любого племени.

* * *

Внутреннее кольцо встретило их запахом благовоний — густым, сладким, дурманящим. Тер-Аккан никогда раньше не чувствовал ничего подобного: в топях пахло тиной и дымом, в нижних кольцах — сыростью и рыбой, здесь же пахло так, будто кто-то сжёг целый лес цветов и развеял пепел по воздуху. От этого запаха кружилась голова и хотелось одновременно спать и плакать.

Зал был полон. Воины стояли вдоль стен, жрецы — в центре, вокруг возвышения из полированной кости. На возвышении лежали яйца — семь, — и каждое светилось изнутри ровным, тёплым светом. А над ними, в воздухе, висело что-то, чего Тер-Аккан не сразу понял: пар. Густой, сладкий пар, поднимавшийся от яиц и складывавшийся в причудливые фигуры — то в змею, то в птицу, то в нечто такое, для чего у него не было названия.

— Смотри, — прошептал кто-то рядом. — Сейчас начнётся.

Жрецы подняли посохи. Побеги на них зашевелились, потянулись к яйцам, и в зале стало тихо — так тихо, что Тер-Аккан услышал, как где-то в стене капает вода. Потом жрецы запели. Не словами — звуком, низким, вибрирующим, от которого дрожали кости. И яйца отозвались: свет внутри них стал ярче, задрожал, и по скорлупе побежали тонкие линии — те самые, прямые, ровные.

Тер-Аккан смотрел и чувствовал, как у него холодеет внутри. Он уже видел такие линии. Сегодня утром. На камешке. И на яйце в нише, где трещина шла поперёк.

— Распознавание, — прошептал жрец, стоявший рядом. — Матка выбирает. Кто достоин — тот останется. Кто нет — того заберут.

— Куда заберут? — спросил Тер-Аккан.

Жрец посмотрел на него долгим взглядом, потом улыбнулся — той же улыбкой, что и Чан-Дур, — и ничего не ответил.

Тер-Аккан стоял, глядя на яйца, и думал о том, что у Гнезда — как у всякой живой вещи — есть своя история, которую рассказывают не вслух. Например, о том, что метка на плече воина — не просто знак. Это запись: круг — Гнездо, три когтя внутри — три великих урока: терпение, послушание и самопожертвование. Ни один воин не знал, какой из трёх когтей выбран для него заранее; это решало только то, как он умрёт. Терпеливый доживёт до старости. Послушный умрёт, выполняя приказ. Самопожертвующий отдаст жизнь за кого-то, кто этого не попросит. И все, кто смотрел на метку, заранее знали: она уже сказала о его судьбе всё, что нужно.

Ещё он думал о том, что в Гнезде нет семей в том смысле, в каком они были в топях. Птенцы не знают родителей: их выводят общим гнездом, кормят из общих кормушек, и у каждого есть только порядковый номер в кладке сезона. Зато есть побратимство — не по крови, а по выбору: двое воинов, сплетя когти и смешав капли крови, становятся братьями навечно. Такой узы не рвёт даже смерть: если один погибает, другой обязан отомстить, не спрашивая, справедлива ли месть. Тер-Аккан слышал, что у Кер-Тана был такой побратим — и что тот погиб где-то в дальних дозорах, и что Кер-Тан до сих пор ищет убийцу. Он не спрашивал. В Гнезде не спрашивают о тех, кого ищут.

Песня жрецов поднялась до самого свода. И Тер-Аккан, глядя на светящиеся яйца, вдруг почувствовал себя частью чего-то огромного — того, что видело тысячи таких церемоний и переживёт ещё тысячи. И в то же время — чужим. Потому что он, единственный в этом зале, знал: внизу, под ногами, лежит нечто, что старше этой церемонии, старше Гнезда, старше самой жизни, которую тут лелеют.

Песня стала громче. Яйца задрожали. И вдруг одно из них — то, что стояло крайним, — погасло. Свет внутри него погас разом, как гаснет свеча, и скорлупа стала серой, мёртвой, безжизненной. Жрецы замолчали. В зале повисла тишина.

— Одно, — сказал кто-то. — Всего одно.

— В этом сезоне — одно, — отозвался другой. — Хороший год. В прошлом было три.

Тер-Аккан смотрел на серое яйцо и чувствовал, как внутри у него что-то сжимается. Он думал о птенце, которого видел вчера. О его жёлтых глазах. О его словах: «Ты будешь помнить». Что, если это яйцо — то самое? Что, если его уже нет?

Он не знал. Но когда жрецы уносили серое яйцо, он поймал себя на том, что провожает его взглядом. И что где-то очень глубоко, под всем этим благовонием и светом, в нём шевелится не страх и не жалость, а что-то другое. Злость.

* * *

После Распознавания их отпустили. Тер-Аккан вернулся в казарму — длинный, низкий зал, где спали воины четвёртого кольца, — и застал там своего соседа Кер-Тана. Кер-Тан был старше его на четыре сезона, шире в плечах, с изрубленным в драке гребнем и вечной усмешкой на морде. Он считался лучшим мечником кольца и лучшим собутыльником — в том порядке, в каком сам предпочитал.

— Видел? — спросил Кер-Тан, не поднимаясь с тюфяка.

— Видел.

— Одно яйцо. — Кер-Тан покачал головой. — В прошлом сезоне было три. Жрецы говорят, что это хорошо. Я им не верю.

— Почему?

— Потому что жрецы всегда говорят, что это хорошо. — Кер-Тан сел. — Погасло яйцо — хорошо. Ушёл клан — хорошо. Умер воин — хорошо. У них на всё один ответ. — Он помолчал. — А ты знаешь, что бывает с теми, кто спрашивает, почему хорошо?

— Что?

— Их уводят в кузню. — Кер-Тан посмотрел на него в упор. — И они возвращаются… не такими.

Тер-Аккан молчал. В казарме пахло потом, кожей и старой кровью. Где-то в углу храпел воин, где-то точили клинок — ровно, методично, вжик-вжик.

— Кер-Тан, — сказал он наконец. — А что находится внизу? Под всеми кольцами?

Кер-Тан замер. Потом медленно повернулся к нему.

— С чего ты взял, что там что-то есть?

— Не знаю. — Тер-Аккан пожал плечами. — Просто… когда я стою на страже, я иногда чувствую, что под нами что-то есть. Что-то большое. Оно двигается.

Кер-Тан долго смотрел на него, потом отвёл глаза.

— Не спрашивай об этом, — сказал он тихо. — Серьёзно. Не спрашивай.

— Но почему?

— Потому что там — Нить. — Кер-Тан понизил голос так, что его слышал только Тер-Аккан. — Так говорят старики. Живой кристалл. В нём — память всех, кто был до нас. И приказ. Один приказ, которому подчиняется всё. — Он помолчал. — И ещё говорят, что иногда, очень редко, оттуда что-то поднимается. Не жрецы. Не воины. Что-то другое. — Он передёрнул плечами. — Я сам не видел. И не хочу.

Тер-Аккан хотел спросить ещё, но Кер-Тан уже отвернулся и лёг на тюфяк, давая понять, что разговор окончен.

* * *

А вечером, когда город начал засыпать, Тер-Аккан пошёл к старому ходу у западной стены. Он сам не знал, зачем идёт: может быть, потому что не мог сидеть на месте; может быть, потому что слова Кер-Тана о Нити не выходили у него из головы. А может быть, потому что где-то глубоко, под всем этим, что-то тянуло его туда — тихо, настойчиво, как тянет течение.

По дороге он вспомнил утро — то, о чём потом старался не думать. Перед сменой, когда он ждал распорядителя у южных ворот, мимо него провели Сырых. Их было трое — худых, серых, с потухшими глазами, — и они несли на плечах длинный, тяжёлый жёлоб, полный горячей воды. Пар валил от них, как от котла, и они шли, согнувшись, ступая в такт, и не поднимали головы. Один — молодой, почти птенец — споткнулся и чуть не уронил свой конец; жёлтая вода плеснула на пол. Стражник, что шёл рядом, ударил его древком копья по спине — не сильно, так, для порядка. Молодой упал на колени, и жёлоб качнулся, и вода выплеснулась ему на ноги, и он зашипел от боли, но не закричал.

— Вставай, — сказал стражник. — Вода стынет.

Молодой встал, взял жёлоб и пошёл дальше — молча, без единого слова, без единого взгляда. Так, будто это было не больно. Будто так и надо.

— Не смотри, — сказал ему тогда распорядитель. — Не твоё дело.

— А чьё?

— Ничьё. — Старик пожал плечами. — Так устроено. Так было всегда. Так будет.

Тер-Аккан промолчал. Но с того утра в нём поселилось что-то новое — тонкое, как волосяная трещина, — и он ещё не знал, что это. Понял только позже, много позже, когда было уже поздно: это была первая трещина в его вере. А вера, как скорлупа, не трескается пополам сразу. Она трескается по волоску, медленно, изнутри наружу — и однажды, в самый неподходящий миг, разваливается вся.

* * *

Старые ходы встретили его сыростью и темнотой. Здесь не было живых огней, не было тёплых стен, не было даже запаха Гнезда — только камень, только вода, только время. Тер-Аккан шёл медленно, держась за стену, и слушал, как капает вода.

Он не знал, сколько прошёл: может, сотню шагов, может, тысячу. Коридор вился, спускался, снова поднимался, и в какой-то момент Тер-Аккан понял, что не помнит, откуда пришёл.

И тогда он увидел свет.

Впереди, в конце коридора, теплилось что-то — не живой огонь, не факел, а ровное, спокойное свечение. Тер-Аккан пошёл на него и вышел в небольшую круглую пещеру. В центре её стоял камень — гладкий, чёрный, в рост воина, — и от него исходило это свечение. А у подножия камня сидела Сырая.

Худая, серая, с гладкой, будто отполированной чешуёй. Она не обернулась. Смотрела на камень.

— Ты пришёл, — сказала она тихо. — Я знала.

— Кто ты? — спросил Тер-Аккан.

— Иг-Се. — Она повернулась. Глаза у неё были серые, спокойные, и в них было что-то такое, от чего у него по спине пополз холод. — Я тебя ждала.

— Меня?

— Тебя. — Она кивнула на камень. — Он тебя зовёт. Уже давно. Ты просто не слышал.

Тер-Аккан посмотрел на камень. Чёрный, гладкий, тёплый — он чувствовал тепло даже на расстоянии. И на его поверхности, от края до края, шла тонкая, волосяная линия. Прямая. Слишком прямая.

— Что это? — прошептал он.

— Осколок, — сказала Иг-Се. — Один из многих. То, что осталось от того, что было до Гнезда. До нас. До всего.

— До Гнезда? — Тер-Аккан не понял. — Но Гнездо было всегда.

Иг-Се смотрела на него не отрываясь. В её лице не было ни страха, ни жалости — только печаль, такая давняя, что она уже не просила утешения.

— Нет, — сказала она. — Не всегда. Когда-то здесь не было ни Гнезда, ни Матки, ни жрецов, ни воинов. Было другое. — Она помолчала. — Было то, что умело говорить с камнем. То, что строило не из кости, а из света. То, что знало небо. — Она подняла голову и посмотрела куда-то вверх, сквозь толщу камня и земли. — А потом оно ушло. Или умерло. Или спряталось. Никто не знает. Остались только осколки. Вот такие.

— Ты хочешь сказать, — медленно проговорил он, — что до нас здесь была другая… другая жизнь?

— Другая цивилизация, — сказала Иг-Се. — Так это называется. Другая жизнь. Другая сила. Другое знание. — Она помолчала. — И оно не умерло. Оно спит. Под нами. Глубоко. И иногда просыпается.

— И тогда что?

Иг-Се посмотрела на него. И в её глазах — серых, спокойных — было что-то такое, от чего у Тер-Аккана перехватило дыхание.

— Тогда, — сказала она, — всё меняется.

* * *

Она поднялась.

— Иди за мной, — сказала она. — Я покажу тебе то, что ты должен увидеть.

— Куда?

— Туда, где Гнездо помнит, — сказала она. — Туда, где всё началось.

Она повернулась и пошла в темноту. Тер-Аккан постоял секунду — а потом пошёл за ней.

Он не знал ещё, что этот день — первый день конца. Никто не знал. Даже те, кто должен был знать.

ГЛАВА 2. Чешуя над хребтом

Гора — это свобода, которая забыла, зачем она стоит.

Западные топи лежали между морем и хребтом, как ладонь, в которую налили воды и забыли вылить. Тысячу лет клан Терр ходил по этой ладони и знал её наизусть — каждую кочку, каждую заводь, каждый перешеек, за который дрались ещё его прадеды. Здесь не строили городов. Здесь вообще ничего не строили: строить в топях — значит признать, что ты собираешься остаться. А клан Терр оставаться не собирался. Он собирался жить.

Жить в топях — ремесло, и не всякий его осилит. Топи не любят тех, кто торопится: они затягивают, засасывают, обманывают твёрдой на вид кочкой, которая проваливается под ногой. Топи не любят тех, кто боится: они чуют страх, как чуют его звери, и отвечают на него холодом и туманом. Топи любят тех, кто умеет ждать. Тех, кто знает, что вода — не препятствие, а дорога, если идти по ней правильно. Тех, кто слышит, как дышит болото, и не мешает ему дышать.

Клан Терр умел ждать. Клан Терр умел слушать. Клан Терр умел жить там, где другие умирали, — и это было его главное богатство, большее, чем оружие, большее, чем кости, большее, чем память о предках.

Тер-Аккан помнил тот день, когда ему исполнилось шесть сезонов, так ясно, будто это было вчера. Отца он запомнил смутно — большой, тёмный, с изрубленным гребнем, пахнущий тиной и дымом. Помнил, как отец посадил его себе на плечо и сказал: «Смотри, сын. Это наша земля. Не потому, что мы её взяли. А потому, что мы её не отдадим». Потом отца не стало. В топях это случается быстро и без объяснений: клан не устраивал тризны — просто вырезал его имя в кости старого дерева, что росло на перешейке между двумя заводями, и пошёл дальше. Горе в топях не нянчат. Его несут на плечах вместе с поклажей.

Мать Тер-Аккана звали Тер-Мара. Она была из клана Терр, как и все здесь, и умела делать три вещи лучше всех: плести сети, находить съедобные корни и молчать. Последнее было самым важным: в топях тот, кто много говорит, либо глуп, либо мёртв. Тер-Мара говорила мало, но когда говорила — её слушали. Она научила Тер-Аккана всему, что он знал о воде: как читать её цвет, как слышать течение, как находить твёрдое дно там, где его нет. Она же научила его главному: не бери из топей больше, чем нужно. Топи отдают ровно столько, сколько им можно отдать. Кто берёт больше — тот тонет.

К шестнадцати сезонам Тер-Аккан знал три вещи, которые должен знать каждый воин Терра. Первая: топи кормят того, кто умеет ждать. Вторая: в топях нельзя бежать прямо — только зигзагом, потому что прямо бегут только те, за кем никто не гонится. И третья, самая важная: дикий тиранн не охотится на того, кто пахнет своим. Пахни своим — и он пройдёт мимо. Пахни чужим — и он придёт за тобой.

Этим трём вещам его научил дед — Тер-Онг, вождь клана, старый, но ещё крепкий, с глазами ясными, как вода в заводи. Дед был из тех, кто не говорит лишнего, но каждое его слово западало в память, как камень в ил. Он учил внука не оружию — оружию учили все, — а тому, что было важнее: как стоять. Как дышать. Как смотреть. Как не бояться темноты, потому что темнота — не враг, а просто темнота.

— Воин, который боится темноты, — говорил дед, — это не воин. Это корм, который умеет ходить. Тьма не кусает. Кусает то, что в ней прячется. И чтобы это увидеть, не нужны глаза. Нужно спокойствие.

Тер-Аккан учился спокойствию долго. Дольше, чем оружию. И всё равно, когда он впервые увидел машину, спокойствие ему не помогло.

* * *

В тот сезон клан стоял на большом перешейке у самого хребта — там, где топи кончались и начинался камень. Место было опасное: с одной стороны вода и корм, с другой — горы, из которых спускались дикие тиранны, те самые, которых жрецы в Гнезде называли «машинами» и на которых охотились ради чести и ради мяса. Никто не знал точно, откуда они берутся в горах. Старики говорили, что их выводили когда-то очень давно, ещё до Гнезда, и что они ушли в горы и одичали, и что теперь они уже не машины, а просто звери — только слишком умные для зверей. Молодые не верили; молодым вообще свойственно не верить в то, что было до них.

Тер-Аккан был из молодых.

В то утро он проснулся от того, что земля под ним дрожала. Не сильно — так, как дрожит вода в котле перед закипанием. Он вылез из шкуры, натянул ремень с ножом и выглянул наружу. Клан уже был на ногах: женщины сбивали детей в кучу у большой заводы, старики разбирали копья, а старый вождь — Тер-Онг, дед Тер-Аккана по матери, — стоял на кочке и смотрел в сторону хребта, приложив к глазам ладонь.

— Один, — сказал Тер-Онг, не оборачиваясь. — Молодой. Идёт с севера, по гребню. Голодный.

— Машина? — спросил кто-то.

— Машина. Только дикая. — Он опустил руку и посмотрел на внука. — Тер-Аккан. Подойди.

Тер-Аккан подошёл.

— Тебе шестнадцать, — сказал дед. — Пора.

— Пора что?

— Убить свою первую машину. — Дед кивнул в сторону хребта. — Вон она. Одна. Молодая. Если клан убьёт её всем скопом — это будет мясо. Если ты убьёшь её один — это будет метка. Понял разницу?

Тер-Аккан посмотрел на хребет. Там, на гребне, между двумя скалами, что-то двигалось — большое, тёмное, тяжело переставляющее лапы. Сердце у него упало куда-то в живот и там осталось.

— Понял.

— Тогда иди. И запомни: не беги прямо. Пахни своим. И бей в горло, а не в брюхо. В брюхо бьют те, кто хочет поскорее. Поскорее — это не про нас.

Тер-Аккан кивнул, взял копьё и пошёл. Мать вышла проводить его до края лагеря. Она ничего не сказала — только посмотрела ему в глаза долгим взглядом и сунула в руку маленький амулет из кости: череп болотной птицы на ремешке. Он повесил его на шею и пошёл, не оборачиваясь. В топях не оборачиваются: обернуться — значит показать, что боишься не вернуться.

* * *

Топи кончились быстро. За последним перешейком начинался камень — серый, тёплый от солнца, покрытый лишайником и трещинами. Тер-Аккан шёл вверх, вдоль ручья, что стекал с хребта, и старался ступать так, как учил дед: мягко, но не крадучись. Крадущийся пахнет страхом, а страх — чужой запах; тиранн придёт на него, как на приманку.

Он шёл долго. Солнце поднялось и стало припекать; камень под ногами нагрелся, и от него шёл лёгкий пар. Где-то высоко, над хребтом, кружила птица — большая, тёмная, с широкими крыльями. Тер-Аккан смотрел на неё и думал, что она, наверное, видит машину сверху. И его тоже видит. И, может быть, уже знает, кто из них двоих не вернётся.

Он нашёл её у расщелины. Молодая машина, ещё не обросшая бронёй до конца, с гладкой, блестящей чешуёй и длинными, чуть кривыми когтями, стояла над тушей какого-то зверя и рвала её, урча. Услышав шаги, она подняла голову — огромную, с двумя рядами зубов, с глазами, в которых не было ни злобы, ни голода, а только холодное, изучающее внимание. Так смотрит на тебя не зверь. Так смотрит тот, кто решает, съесть тебя сейчас или подождать.

Тер-Аккан остановился. Пахло падалью, тиной и чем-то ещё — горячим, металлическим, как пахнет кровь на камне. Он поднял копьё. Машина опустила голову и шагнула к нему.

Он не побежал. Он сделал то, чему учил дед: присел, широко расставил ноги и замер. Пахни своим. Он подумал о клане — о деде, о костре, о заводе, о шкуре, в которой спал, — и вдруг ему показалось, что он и вправду пахнет этим: дымом, тиной, своим. Машина остановилась в трёх шагах. Наклонила голову. Принюхалась.

И в этот миг Тер-Аккан ударил.

Не в горло — он не достал бы. Он ударил снизу, в мягкую складку под челюстью, туда, где у молодой машины ещё не наросла броня. Копьё вошло легко, слишком легко, и на секунду ему показалось, что он промахнулся и попал в воздух. Потом машина заревела — так, что у него заложило уши, — и рванулась, и копьё вырвало у него из рук, и он покатился по камню, а сверху, обрушивая камни, уже шла на него туша.

Он успел откатиться. Когти прошли в ладони от его бока, выбили искры из камня. Машина развернулась тяжело, неуклюже — молодая, ещё не научившаяся убивать быстро, — и Тер-Аккан, не думая, схватил первый попавшийся камень и швырнул ей в морду. Камень попал в глаз; машина мотнула головой, и он, воспользовавшись этой секундой, вскочил и прыгнул ей на спину.

Он не знал, зачем это сделал. Наверное, от страха; наверное, от того, что бежать было некуда, а стоять — глупо. Он вцепился в гребень, и машина под ним взвилась, закрутилась, пытаясь сбросить его, а он держался изо всех сил, вбив когти в чешую, и чувствовал, как под ним ходят огромные мышцы, как ревёт глотка, как пахнет от неё горячим и металлическим.

А потом он увидел шею — голую, там, где чешуя расходилась, — то уязвимое место, которое есть у всякой машины, даже у самой бронированной. Он рванулся вперёд, перехватил рукой за гребень, подтянулся и ударил ножом — коротко, снизу вверх, в самое основание черепа.

Машина замерла. Задрожала. И осела.

Тер-Аккан скатился с неё, лёг на спину и долго смотрел в небо, тяжело дыша. Руки тряслись, в ушах звенело. Где-то очень высоко, над хребтом, кружила птица.

Он убил. Впервые убил сам. И это было не так, как он думал: не было ни торжества, ни гордости — только усталость, тошнота и странное, тянущее чувство в груди, будто он что-то потерял и не знает, где искать.

Он сел. Посмотрел на тушу. Машина лежала на боку, и из-под челюсти у неё текла кровь — тёмная, густая. Глаз, в который попал камень, был закрыт; второй, открытый, смотрел в небо. И в этом глазу не было ни злобы, ни боли — только удивление. Будто она не понимала, как это могло случиться.

— Прости, — прошептал Тер-Аккан. Он сам не знал, зачем это говорит: в топях не просят прощения у добычи. Но он сказал. И ему стало немного легче.

* * *

Когда он вернулся в лагерь, его встретили молчанием. Дед вышел навстречу, осмотрел его — всего, с ног до головы, — потом посмотрел на тушу, что тащили следом воины, и кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Не в брюхо.

И тогда клан заревел. Женщины завыли, застучали в ладоши, старики затопали ногами, дети завизжали и запрыгали. Тер-Аккана подхватили на руки и понесли к костру. Ему дали первую чашу — горькую, обжигающую, — и он выпил её до дна, как мужчина. Ему вырезали на плече метку: круг с тремя когтями внутри. Метка Гнезда. Знак того, что клан Терр признал его воином.

Пир длился всю ночь. Жгли костры, жарили мясо, пели песни. Старики рассказывали истории о великих охотниках прошлого, о кланах, которые ушли в топи и не вернулись, о машинах, которые спускались с гор и уходили обратно. Женщины плясали вокруг огня. Дети

бегали и визжали. И Тер-Аккан сидел в центре, у самого большого костра, и чувствовал, как на него смотрят — с уважением, с завистью, с чем-то ещё, чего он не мог назвать.

Праздники клана Терр имели строгий порядок, хотя со стороны казалось, что это просто дикая пляска. Всё начиналось с «зачина»: старшая женщина клана разводила первый костёр и бросала в него клок шерсти и горсть соли — чтобы год был тёплым, как шерсть, и стойким, как соль. Затем мужчины водили круг вокруг огня — столько кругов, сколько имён носит клан. Терр носил три имени: имя воды, имя тропы и имя костра; потому круг обходили трижды.

Детей в клане считали не по дням, а по пройденным бродам. Когда малыш впервые самостоятельно переходил топь, скрытую водой, ему давали «водное имя»; когда впервые находил дорогу домой по чутью — «тропное»; а «костровое» — за то, что умел развести огонь без искры камня, — доставалось не всем. У Тер-Аккана, как у почти всех, было два имени: водное и тропное. Костровое он так и не получил — не потому, что не умел, а потому, что первый раз развёл огонь в ту самую ночь, когда отец не вернулся с охоты. Клан решил, что это дурной знак, и имени ему не дали. Он не обижался: имена в Терре — как узлы на верёвке, чем меньше узлов, тем легче бежать.

Сам пир был не только пиром. Пока жарилось мясо, старики проверяли молодых: спрашивали, где в топях проходит тропа под водой, какой корешок лечит от лихорадки, что делать, если машина подошла ночью с подветренной стороны. Отвечать надо было быстро и без запинки — так же быстро, как в топях. Кто ошибался, получал не наказание, а новое поручение: идти вместе со стариком и учиться заново. Так клан и жил — учил через праздник, потому что в топях другого времени для учения не было.

Свою долгую память Терр хранил не в книгах: он вбивал её в кости, оружие и шкуры. Каждую зиму в большой заводи ставили «шест памяти» — жердь, на которую вешали кольца из рога; каждое кольцо означало человека, которого больше нет, но о котором помнят, и у каждого кольца был свой цвет. Тер-Аккан видел эти шесты, когда был совсем маленьким, и они казались ему деревьями, на которых выросла вся мёртвая родня. Потом он спрашивал мать, почему на шестах не пишут имён, и она ответила: «На воде писать нельзя. Вода всё смоет. А кость не смывается».

Из клыка убитой машины он сделал себе нож. Клык был длинный, чуть изогнутый, с зазубриной у конца; старик-мастер по имени Тер-Гар подрезал его и насадил на рукоять из болотного дерева, которое не гниёт, пока его не вынесешь из воды. Нож вышел тяжёлым, но уверенным в руке. Тер-Гар показал метку на плече и сказал: «Теперь тебе доверят не только кости». И Тер-Аккан впервые подумал, что быть воином — это не только убивать.

Тер-Аккан сидел у костра и думал о машине. Не о той, что лежала на камне с открытым глазом, а о других — о тех, что спускались с гор, о тех, что рождались где-то наверху, в невидимых машинах. Он видел их только издалека. Их было больше, чем можно было сосчитать, — так говорили те, кто бывал наверху. И всё же клан жил, и жил не так уж плохо. Он ловил рыбу, добывал корни, шил одежду, рожал детей. Он умирал в топях, но редко. Он смеялся. Он умел радоваться.

Только не здесь. Радость в клане была короткой и осторожной, как зверь, который пьёт из заводи и на каждом глотке поднимает голову. Наверху было всё то же, что и внизу, только крупнее и страшнее, и мальчика от школьника отличало ровно одно: сколько шагов он успевает сделать, прежде чем его догонят.

— О чём думаешь, воин? — спросил дед, присаживаясь рядом. Он говорил тихо, чтобы не перекрывать песню.

— О машине.

— О той, что убил?

— О других. О тех, что придут за ней.

Дед помолчал. Огонь щёлкнул, и от него полетели искры; одна упала на камень и погасла.

— Машины — не враги, — сказал он наконец.

Тер-Аккан посмотрел на него.

— Мясо, которое движется, — продолжал дед. — Это еда. Это тепло. Это — нож, если умный. Враг не машина. Враг — тот, кто их делает. Тот, кто правит ими. Тот, кто решил быть богом. — Он сплюнул в огонь. — Когда-нибудь ты попадёшь в Гнездо. Так вышло, что ты попадёшь, я знаю. И там ты увидишь не машины. Там ты увидишь людей, которые заставили машины думать, что они боги. И вот их-то бояться не надо. Их надо ненавидеть. А чтобы ненавидеть правильно, надо сначала увидеть, каково им.

— Увидеть — и что?

— Увидеть — и перестать бояться.

— Дед, — раздался голос с другой стороны костра. — А ты ему скажи про Спящих.

Тер-Ну сидел поодаль, свесив одну длинную руку с колена, и в свете огня его бугристая кожа казалась корой. Он был ровесником деда — может, старше. На левом плече у него была та же метка Гнезда, только вырезанная давно и успевшая зарасти в шрам.

— Ты опоздал, Тер-Ну, — сказал дед. — Я уже рассказал ему про людей.

— Про людей он и сам догадается, — Тер-Ну повёл плечом. — Про людей даже жрецы рассказывают, когда им выгодно. Ты ему скажи про то, что под камнем. — Он повернулся к Тер-Аккану. — Слушай, воин. Ты убил одну машину. Это хорошо. Это значит, что ты умеешь дышать, когда страшно, и это в топях важнее любого копья. Но ты должен знать, что машинами не кончается. Машины — это только ноги того, что идёт. Голова у него другая.

— Какая голова?

— Наверху, под большим камнем, — Тер-Ну ткнул большим пальцем куда-то в сторону хребта, — есть место, где всё началось. Там лежит то, что построило Гнездо. Жрецы зовут его Спящий. Сырые зовут его иначе, но я имён не запоминаю. Оно не живое и не мёртвое. Оно… — он поискал слово, — ждёт.

— Чего?

— Не знаю. Может, нас. Может, ещё чего-нибудь. — Старик помолчал. — Я был там один раз. Молодой был, совсем дурак. Нас послали искать тропу через перевал, и я ушёл слишком далеко. Я видел дверь. Огромную, в камне, выше трёх деревьев. Она была закрыта. И она дышала. Я стоял и смотрел, как она дышит, — вот как ты сейчас на меня смотришь, — и потом убежал. Я четыре дня не мог заснуть. И всё это время мне казалось, что она меня видит.

— Но она тебя не тронула, — сказал Тер-Аккан.

— Не тронула, — согласился Тер-Ну. — Потому что я ушёл. И потому что был маленьким. Маленьких не трогают. Маленькие — это как муравьи: пока ты их не заденешь, они тебе не мешают. — Он посмотрел прямо на него. — Когда ты станешь большим, за тобой придут. Вот тогда всё и меняется.

Ночь уже перевалила на вторую половину, и костёр начал оседать, когда из темноты на краю лагеря вышла женщина.

Она появилась не так, как выходят свои: не из-за шатра, не от другой заводи, а прямо из тумана, будто туман её и выдохнул. Никто не слышал шагов — в топях шаги слышно издалека, а тут не было ни шагов, ни плеска. Просто сначала песня у костра стала тише, потом оборвалась, и в тишине стало слышно, как под камнем у края воды шевелится что-то живое.

— Эсстра, — сказал кто-то шёпотом, и по лагерю прошло движение: люди подавались назад, к огню, а не от него, хотя обычно от незнакомых бегут.

Тер-Аккан знал это имя с детства. Его учили с ним, как с оберегом: «Не ходи в туман. Не зови по имени. Не отвечай, если позовут». Эсстра была из тех, кем в клане пугали детей и кем оправдывали всё, что нельзя было объяснить: пропавших охотников, тонкий лёд, туман, который никак не хочет расходиться. Одни говорили, что она — воплощение Земли. Другие

— что она безумная. Третьи — что её не было никогда. И все сходились в одном: если она пришла, значит, что-то не так.

Она стояла у края света. Худая, в тёмной шкуре, с босыми ногами, вымазанными илом, и с волосами, которые не шевелились на ветру, — а ветер был. В руке она держала палку, или это был посох, или просто сухая ветка; Тер-Аккан так и не разобрал. Лицо у неё было обыкновенное, усталое, и это пугало больше всего: он ждал чего угодно — жёлтых глаз, звериной морды, зубов, — а увидел женщину, которая просто очень долго шла.

Эсстра дошла до костра и остановилась. Никто не встал, хотя все были готовы встать.

— Земля не ваша, — сказала она.

Голос у неё был низкий и спокойный, как вода в глубокой заводи.

— И не Гнезда. И не тех, кто придёт. — Она не смотрела ни на кого в отдельности и смотрела на всех сразу. — Отдайте её. Тот, кто отдаст — останется. Тот, кто держит — останется здесь навсегда, и имя его никто не впишет в кость.

— А ты кто? — спросил старый Тер-Онг. Он не встал тоже, но подобрался, и голос у него был вождеский.

Эсстра посмотрела на него. Долго.

— Я та, кто помнит, как это было в прошлый раз, — сказала она наконец.

Потом она повернула голову — и нашла Тер-Аккана взглядом, хотя он сидел не с краю, а в тени у костра, и не сказал ни слова.

Глаза у неё были обыкновенные. Серые. Усталые. Но он почувствовал, как у него в груди стало тесно, будто там открылась дверца и оттуда повеяло холодом.

— Ты, — сказала она. — Ты будешь помнить.

Он хотел спросить, что помнить, но язык не послушался.

— Не сейчас, — ответила она на незаданный вопрос. — Сейчас ты будешь бояться. Потом — нет. А потом — забудешь, что вообще боялся. И это будет самое плохое.

Она отступила на шаг, и туман за её спиной сомкнулся, как вода за брошенным камнем. Женщины начали плести знаки Гнезда в воздухе, дети заревели, кто-то уронил чашу. А когда огонь снова вспыхнул, на краю света уже никого не было.

Пир кончился сам собой. Никто не объявлял, что он окончен, — просто огонь догорел, и все разошлись по шкурам, и даже дети не спорили, кто где спит. Тер-Аккан лежал на спине и смотрел в небо, но звёзд не видел: над топями стоял туман, и в нём не было ни звёзд, ни луны, только серое, чуть светящееся ничто.

Мать легла рядом. Она долго молчала, а потом сказала:

— Ты не должен был смотреть ей в глаза.

— Я не смотрел. Она сама.

— Это хуже.

Тер-Аккан повернул голову. Тер-Мара лежала на спине, и лицо у неё было спокойное, как всегда, только губы были сжаты чуть крепче обычного.

— Она правду сказала? Про землю?

— Она всегда говорит правду, — ответила мать. — Просто правда у неё не такая, как у нас. Мы думаем, что правда — это когда один что-то сделал, а другой видел. А у неё правда — это когда всё уже было и ещё раз будет.

— Значит, мы здесь зря?

Мать помолчала. В темноте было слышно, как в заводи плеснула рыба, как закричала ночная птица, как кто-то у дальнего костра ворочается во сне.

— Мы здесь не зря, — сказала она. — Мы здесь потому, что больше негде. Топь нас кормит, топь нас прячет, топь нас не спрашивает, кто мы и откуда. Это не зря. Это просто не навсегда.

Утром Тер-Аккан проснулся раньше всех. Туман стоял по колено, и в нём было тихо так, что слышно было, как капли падают с листьев и как где-то далеко, на хребте, что-то тяжёлое переступает с лапы на лапу.

Он поднялся на кочку — на ту самую, где вчера стоял дед, — и посмотрел в сторону гор. Камень был серый, плоский, и в утреннем свете на нём было видно каждую трещину. Убитой машины отсюда не было видно: туша осталась в расщелине, и после завтрака её пойдут свежевать — мясо в клан, кости на ножи, клык на шест памяти.

А потом он увидел то, чего не было вчера.

На скале, на самом краю гребня, стояла фигура. Маленькая, тонкая, с длинной палкой в руке. Она стояла неподвижно и смотрела вниз, в долину. И хотя расстояние было большое, Тер-Аккан готов был поклясться, что она смотрит именно на него.

Он не отвёл взгляда. И она не отвела.

— Не смотри, — сказал за спиной дед. Он подошёл неслышно, как все старики в Терре, и теперь стоял рядом, опираясь на копьё. — Она этого и хочет. Когда она смотрит, она запоминает. А запоминать тебя ей ни к чему.

— А если я её запомню?

— Ты её и так запомнишь, — сказал дед. — Куда ты денешься.

Фигура на скале подняла руку — медленно, будто прощаясь, — и исчезла за гребнем. Тер-Аккан ещё долго смотрел на пустой камень, и ему казалось, что там осталось что-то. Не тень, не след. Ощущение.

Дед тронул его за плечо:

— Пойдём. Работа.

* * *

День был длинный. Машину свежевали всей взрослой половиной клана: сначала снимали чешую — её потом варили в заводи, чтобы размягчить, и делали из неё нагрудники, которые не пробивал клык, — потом резали мясо и вешали его коптиться над ямами с тлеющим торфом. Тер-Аккан работал со всеми, но всё время чувствовал на себе взгляды. На него смотрели иначе, чем вчера. Вчера он был мальчишкой, который убил машину. Сегодня он был воином, который убил машину, а потом разговаривал с Эсстрой.

Ближе к вечеру к нему подсел Тер-Бар — парень двумя сезонами старше, с обрубком левого уха и с привычкой всё время что-то вертеть в руках. Он вертел щепку и молчал долго, а потом сказал:

— Она к тебе приходила.

— Нет. Она пришла ко всем.

— Ко всем она приходит раз в сто сезонов, — Тер-Бар усмехнулся. — А к тебе — в ту ночь, когда ты убил первую машину. Я считаю, это не просто так.

— И что?

Тер-Бар посмотрел на щепку, потом на него.

— И то, что тебе теперь не дадут сидеть на месте. Тебя будут гонять на перевал, в сухие топи, к самому каменному языку. Проверять. — Он пожал плечами. — Я бы на твоём месте радовался. В клане скучно.

Тер-Аккан не ответил. Он смотрел на горы и думал о том, что Эсстра сказала ему «ты будешь помнить», и о том, что помнить, если и так все кругом помнят и без него.

Ночью его разбудили.

У дальних костров били в доску — коротко, часто, три раза и пауза, — и этот стук Тер-Аккан знал с тех пор, как научился ходить. Так били, когда к лагерю подходило что-то большое. Он выскочил из шкуры, схватил копьё и побежал туда, где уже собирались люди: кто с рогатиной, кто с горящей головнёй, кто просто с палкой. Впереди стоял дед, и в руке у него был факел, а не копьё, — так полагалось: вождь встречает гостя огнём, а не сталью.

Машина стояла в воде по грудь, у самого края заводи, и вода вокруг неё парилась. Молодая, не больше той, что он убил, но худая — совсем худая, с проступившими рёбрами и с чешуёй, которая на боках висела клочьями. Она пришла не охотиться. Она пришла умирать.

Клан замер. Все знали, что делать, если машина идёт на тебя: шуметь, махать огнём, отходить к воде, заводить в топь. Но никто не знал, что делать, если машина просто стоит и смотрит.

— Не шумите, — сказал дед негромко. — Стоять. Все стоят.

Машина переступила с лапы на лапу. Голова у неё была опущена, и из пасти шёл пар — мелкий, частый, как дыхание загнанного зверя. Она смотрела не на людей. Она смотрела на огонь.

— Она голодная, — сказал Тер-Бар у него за спиной. — Или больная.

— Она не голодная, — ответил Тер-Аккан. Он сам не знал, откуда это взялось, но знал. — Она пришла греться.

И тогда он сделал то, чего делать было нельзя. Он вышел вперёд — мимо деда, мимо факелов, мимо всех, — и остановился на кочке в трёх шагах от воды. Машина подняла голову. Он видел её глаза — жёлтые, мутные, с двумя зрачками, как у всех машин, — и в этих глазах не было ни голода, ни злобы. Только усталость.

Он не поднял копья. Он просто стоял

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.